

НА КАРНИЗЕ

Окно в мансардном этаже даже издали выглядело грязным, закопченным, абсолютно непрозрачным. Рамы были старые, краска на них облезла, обнажив иссохшую древесину, а стекла держались, похоже, на одной замазке. Но самое главное: окно никогда не открывалось. И свет в нем не зажигался, что означало: в комнате никто не живет.

Зато жизнь бурлила на старом проржавевшем карнизе, который под наклоном отходил от окна, образуя небольшую площадку. По этой площадке разгуливали коты, на ней передыхали голуби; даже чайки там приземлялись, хотя от залива досюда было далеко. Понятно, что оккупировали карниз по очереди: если там коты, то голубям ловить нечего, даже большущие чайки с крючковатыми клювами предпочитали в этом случае перепорхнуть на соседний балкон. Когда же на ржавом железе появлялся человек, любая живность кидалась врассыпную – царь природы, как никак.

Впрочем, «царь» в обличи кровельщика вел себя боязливо он пробирался по карнизу с осторожностью, придерживаясь за стеночку, потому что – шестой этаж. А поскольку дом был тоже старый, то шестой этаж – это метров двадцать высоты, сверзишься – мало не покажется. Зимой на карнизе можно было увидеть тех же голубей (чайки и коты на это время куда-то исчезали), а еще людей в оранжевых жилетках, что сбрасывают с крыш снег и лед. Эти ходили без опаски, потому что на привязи были: привяжется такой за трубу или антенну длинной веревкой и давай киркой махать, обивать с карниза ледяной панцирь. Передыхая, оранжевый доставал сигарету и, закурив, что-то пытался разглядеть за грязным закопченным стеклом. Бывало, что и ладонь козырьком ко лбу прикладывал, чтобы не мешал отблеск стекла, но долго туда не смотрел, наверное, ничего интересного за окном не было. И для кровельщиков там не было ничего интересного, хотя они и не

пытались заглядывать внутрь: без привязи ведь ходили, а тут не до чужих секретов.

Она появилась в окне летним утром: створка медленно распахнулась, открыв черный оконный проем, и из этой черноты выплыла белая фигура. На самом деле халат (на ней был халат) имел лиловый цвет, но на фоне оконного проема он казался белым. Она вроде как горбилась, не помещаясь в проеме; лишь когда нога ступила на карниз и фигура распрямилась в полный рост, стало ясно: это высокая и стройная женщина. А еще курящая, потому что она сразу же достала сигарету и закурила. Волосы у женщины были светлые, коротко подстриженные, но челка оставалась, и она постоянно откидывала ее со лба. А как иначе, если с такой высоты глядишь вниз? При таком взгляде челка, понятно, свешивается, мешает обзору, значит, надо откидывать свободной рукой. В другой руке у нее была сигарета, а под ноги она поставила какую-то простецкую пепельницу. Изящно изгибаясь, она приседала едва не на корточки, чтобы стряхнуть пепел, потом выпрямлялась во весь рост, и было даже удивительно, что она не боится. В одной руке сигарета, другой она челку откидывает, и надо бы третью, чтобы за створку или за стену держатся. Так не держалась ведь! Курила, приседала, выпрямлялась, поглядывая вниз, видно, совершенно не страдала головокружением. Бывало, и вовсе голову запрокидывала и глазела на облака или на стрелу башенного крана, недавно установленного рядом с домом. Слегка покачиваясь, стрела скользила высоко над крышей (еще метров двадцать прибавьте), легкая и ажурная, она чем-то напоминала вышедшую на карниз женщину...

Вскоре окно просветлело: грязные разводы были убраны с помощью газеты, вначале изнутри, потом снаружи. Было видно, как хозяйка рвет газеты на клочки, после чего, встав на стул, совершает кругообразные движения руками. А спустя несколько дней она вылезла на карниз с баночкой и кистью, чтобы выкрасить старую иссохшую раму в белый цвет. Почему в белый? Нравилось человеку, наверное, хотя по нашей погоде цвет, конечно, непрактичный, утрачивает девственность за сезон. Потом в окне появились шторы. Там никогда не было штор; учитывая грязь и копоть, в них и нужды-то не было, а теперь появились, голубые и воздушные. Их выдувало сквозняком, когда женщина выбиралась на карниз, и колыхало на ветру. Видя это, женщина прекращала заниматься челкой, упрятывала шторы внутрь комнаты, после чего прикрывала створку и отправлялась гулять по карнизу.

Ну да, иначе это и не назовешь: гулять. Кровельщики, как вы помните, боялись здесь ходить, чистильщики снега – надеялись на страховочную веревку, а эта прохаживалась, как по бульвару! Ладно прохаживалась бы в хорошую погоду, так она ведь и в дождь вылезала! Когда с зонтиком, когда в накидке поверх халата, только проблема-то в другом: под ногами скользко, того и гляди... Но она почему-то совсем не боялась. Наоборот, ей нравилось на карнизе, как некоторым людям нравится стоять на балконе. Отличие в том, что на балконе есть перила, а на карнизе их нет. И установить нельзя, потому что дом, как уже говорилось, был старый, то есть – памятник архитектуры, и если каждый начнет перила устанавливать – что останется от памятника?

Правда, цветы запретить нельзя даже на памятнике, и она это знала. Вскоре она выставила на карниз три продолговатых пластиковых ящика, разместив их прямо у окна. Там колыхалась какая-то розоватая растительность, скорее всего, петунии; а вскоре на карнизе появилась

парочка кашпо с фиолетовыми цветами. Теперь она приседала не только для того, чтобы стряхнуть пепел, но и для полива своей карнизной клумбы. Если долго не было дождя, она выходила на карниз с маленькой зеленой лейкой и, присев, аккуратно поливала насаждения, как-то буквально кустились (сторона была солнечная, да и лето выдалось жарким).

По вечерам в освещенном квадрате окна иногда возникал силуэт. Тонкий и ломкий, он постоянно двигался, так что можно было догадаться: женщина развешивает белье на протянутой через комнату веревке Или гладит его. Или делает какие-то физкультурные упражнения, типа, домашний фитнес. Иногда силуэт приближался к окну, штора отодвигалась, и хозяйка озидала клумбу: как, мол, мои цветы? Не поникли без солнечного света? Не завяли? В вечернее время она редко выбиралась на карниз, предпочитала курить, высунувшись едва ли не до пояса из окна. Но иногда и вечером (а то и ночью) появлялась на своем обычном месте, накинув поверх халата шаль.

С тамошним зоопарком она наладила отношения быстро. С ее появлением коты на время исчезли с карниза, выбрали для своих хождений другие маршруты. Птицы, правда, по-прежнему использовали площадку для отдыха, но тут же взмывали, если створка открывалась. Между тем хозяйка карниза (назовем ее так) помимо сигарет имела в кармане лилового халата то ли хлебные крошки, то ли пшено, которое щедро раскидывала по ржавому железу. Голуби и чайки кружили в отдалении, но, когда хозяйка скрывалась за окном, тут же слетались на карниз клеветать угощение.

Потом между кашпо и ящиками была установлена кормушка с кошачьим кормом. Первым халяву оценил юркий рыжий замухрышка, с жадностью сожравший содержимое кормушки и улегшийся неподалеку ждать добавки. Хозяйка подсыпала корма, но тут из-за угла показался серый толстый котяра, отогнавший рыжего дистрофика и устроивший пир в одиночку.

Вскоре коты уже позволяли себя гладить. К рыжему и серому прибавилось еще пара белых грациозных кошечек, для которых тоже не жалели корма. Четвероногие друзья терлись о ноги женщины, прохаживались перед ней, стараясь заглянуть в лицо, она же смотрела на облака, на стрелу, что кружила в небе, отбрасывая ажурную тень. Когда стремительная тень, изламываясь на неровностях кровли, пробежала по карнизу, казалось: она готова смахнуть хозяйку вместе с ее зверинцем. Однако не смахивала; и женщина гладила вначале рыжего, затем серого (это наглец по-прежнему норовил оттереть слабосильного замухрышку).

В одну из ночей загорелась расположенная в центре двора помойка – жильцы давно хотели ее перенести, и кто-то постоянно поджигал содержимое. Помойка горела хорошо, пламя доставало до второго этажа, а отблески достигали шестого; даже стрела крана, зависшая над домом, выхватывалась из темноты. Выхватывалась и фигура на карнизе, застывшая у самого (так, во всяком случае, представлялось) края. Вероятно, женщина опять откидывала челку, глядя вниз, но в ночном мраке жест был незаметен, только крошечный огонек сигареты чертил в темном воздухе замысловатые траектории; хотя, возможно, то была всего лишь взлетевшая искра от пожара. Искр было много, ага; и пожарных было много, целых четыре машины, что для одной помойки – явный перебор.

В эту озаренную пожаром ночь показалось: в ее комнате кто-то есть. Вроде бы из окна иногда появлялась рука, энергичным жестом увлекая сумасбродку обратно: давай, дескать, в комнату, нечего дурью маяться! Рука могла быть, конечно, тоже отблеском пожара (ну очень сильное было пламя!), да только в последующем так и вышло. То есть за голубыми шторами появился еще кто-то, похоже, мужского пола.

В белой майке, а может, рубашке, он мелькал где-то в глубине, но никогда не показывался наружу. Мужчина тоже курил, судя по клубам дыма, нередко сопровождавшим мелькание белой рубашки (майки?). На карниз, однако, новый обитатель комнаты выходить не желал. Ну никак не желал, хотя женщина его явно приглашала. Обернувшись к окну, она жестом показывала: да выходи же ты, посмотри, какие здесь цветы! А мои четвероногие друзья?! Коты, уже привыкшие, терлись о ее ноги, тоже служа аргументом: присоединяйся, мол, к нашей компании! Но ответом был красноречивый жест: нет (ноу! нихт!), я еще не сбрендил, чтобы гулять по карнизу, как по бульвару!

Наверное, мужчина страдал головокружениями. Или высотобоязнью, или у него была аллергия на кошек. Но факт остается фактом: карниз оказался ему не по плечу, извините за неуклюжее выражение. Что никоим образом не говорит об этом человеке отрицательно: очень многие боятся прыгать с парашютом, но не боятся оказывать помощь заразным больным. Дело вообще в другом – если, конечно, мы верно дешифровали язык театра теней, что давал представления в голубом квадрате окна. Ранее в театре был один актер (точнее, актриса) теперь же разворачивались постановки на двоих: с бурными жестами, сближениями и расходом по углам, иногда даже казалось: с поцелуями, а также с рыданиями, поскольку тень актрисы иногда застывала, горбилась и вроде как вздрагивала. Хотя на рыданиях и поцелуях мы, конечно, не настаиваем, тень – она и в Африке тень, а нам живого человека подавай, в трехмерном, так сказать, измерении.

А в трехмерном было вот что: она по-прежнему выбиралась на карниз, только теперь курила по две, а то и по три сигареты подряд. И на стрелу башенного крана совсем не смотрела, хотя стройка шла интенсивная и ажурная конструкция крутилась туда-сюда, как пропеллер. Она даже о котях редко теперь вспоминала, и тем приходилось с обидой, тычась в ее коленки, напоминать: наполни, мол, кормушку! А еще она стала чаще появляться на карнизе вечером и ночью. Причем без шали, что в конце лета (а лето махало ручкой) было чревато – синоптики уже пугали надвигающимися ночными понижениями температуры вплоть до заморозков.

Потом она вообще исчезла с карниза, возможно, приболела. Или в командировку уехала, или в отпуск – мало ли причин? Ничего экстраординарного, одним словом, если не считать голубей, сердито ходивших по карнизу и, за неимением хлебных крошек, яростно клевавших ржавое железо.

Оказалось, ярость пернатых была оправдана, то есть не уехала она ни в какую командировку (как и в отпуск). В один из осенних дней, когда карниз уже расцвелили кружащие в воздухе желтые и красные листья, из окна вылезла женская голова. Голова была большая и круглая, с прической, которую называют: «химия». Потом появилась женская рука, толстая, но проворная, и быстро втащила в окно ящики с цветами. А вот кашпо к тому времени сползли к самому краю карниза, так что достать их толстая, но, увы, короткая рука была не в силах.

Поэтому вскоре появилась еще одна голова, совсем без волос, а спустя несколько минут и сам обладатель головы, массивный дядя в спортивном костюме, возник на карнизе. Точнее сказать, он выполз на него на четвереньках, обмотанный вокруг пояса веревкой. Другой конец веревки держала толстая женская рука, а голова с прической «химия», надо полагать, командовала: давай, мол, хватай! А теперь – тащи!

Это было смешно: наблюдать, как дядя, пятась (вы представляете: что значит: пятась на четвереньках? да еще если тянешь груз?) уволакивал свою добычу в нору. Шторы в норе вскоре заменили на ярко-желтые, цвета яичного желтка, а перед ними на подоконнике поставили те самые ящики с цветами, так что сразу радости прибавилось. И за желтыми шторами радости было невпроворот, если судить по многочисленным теням, что мелькали в какой-то ликующей пляске, наверное, по случаю новоселья. Кровельщик тоже, надо полагать, радовался: в новоселье он не участвовал, но ходить по карнизу ему стало легче. Грустили разве что коты, чьи кормушки без жалости сбросили вниз. Но какое нам дело до котов?

КАРТИНА

Уставив в пространство невидящие глаза, слепые работали на ощупь. Руки ритмично протягивались к горкам щетины, обмакивали ее в клей и быстро вминали в деревяшки; тела при этом мерно покачивались, и казалось: в цеху функционируют некие человекоподобные машины. Художник наблюдал за ними через окно, держась за карниз. Ноги соскальзывали с уступа, затекшие от долгого стояния, а он никак не мог оторвать взгляд от незрячих роботов, перед каждым из которых росла куча готовых щеток. Так и не привык к этому зрелищу, хотя уже неделю ходил к щеточной фабрике: запоминал характер операций, режим работы и успел неплохо узнать здешние порядки. Не отрывая рук, художник скосил взгляд на часы – подходило время обеда. За стеклом прозвенела дребезжащая трель, слепцы дружно подхватили палки и, поднявшись, двинулись на выход.

По пути домой он считал повороты. Углов было семь, один поворот по дуге, чтобы обогнуть круглую площадь, и еще надо было миновать арку проходного двора. С поребриками он запутался, решив запоминать переходы через дорогу; а перед самым домом заметил вдруг зияющий провал люка. Он поискал глазами крышку – та валялась на другой стороне улицы. Стайка девиц с портфелями захихикала, видя, как неуклюжий долговязый человек катит через дорогу тяжеленный кругляк и пытается пристроить на место. Художник едва не отдал палец, после чего подумал: «Глупо. От всего не застрахуешься, поэтому глупо и нелепо».

Недавно он пробовал дойти до кухни с закрытыми глазами и ни на что не наткнуться: почти наизусть выучил коридорную географию. Рельеф коридора, однако, меняла то разобранная кровать супругов Кашиных, которая норовила отпасть от стены и придавить, то ими же купленная мебель. Сегодня возле туалета высилось что-то новое – огромное, в досках и картоне. Обогнув очередное приобретение, художник хотел прошмыгнуть к себе, но задержала реплика из кухни:

– Опять этот скипидаром навонял! Все, в исполком пойду!

– Надо, надо! – одобряюще отвечал Кашин, – Правил проживания не соблюдает, на письменные сигналы – ноль внимания, тогда что ж? Найдем управу!

Художник на цыпочках пробрался в комнату, тихо прикрыл дверь и перевел дух. Если приходилось мыть кисти в комнате, он тщательно проветривал; просто соседи боролись за дополнительную площадь, с прицелом на которую и покупали гарнитуры. Неоплаченные счета или невыключенный свет аккуратно фиксировались теперь в записках: первый экземпляр «честно» клали на кухонный стол, второй же подшивался к делу в жилконторе, откуда прибегали дамочки с угрозами выселить. Супруги прошли в комнату, и, хотя слов было не разобрать, художник долго, с напряжением вслушивался в глухой бубнеж. И вне-

запно поймал себя: «А я ведь заранее слух тренирую!» – после чего вымученно усмехнулся.

Он стащил с мольберта ситцевую накидку, затем долго всматривался в собственное творение. Замысел едва проступал на холсте: как будто вид из окна, но за окном не улица, не лес, не море. Что? Он не мог бы точно ответить, хотя холст тянул, заставлял себя прописывать, что всегда было признаком будущей удачи.

Это была последняя и единственная теперь работа. Заключение офтальмологов погребальным звоном прозвучало два месяца назад, а казалось, с той поры минула вечность. О, какие истерики устраивал он в кабинетах: сделайте, ну сделайте же что-нибудь, какое к черту омертвение сетчатки, я ведь художник! Но в кабинетах лишь разводили руками, мол, мы не боги. Вот тогда работы и упорхнули, как птички: что-то сам сдал за бесценок, а чему-то «приделали ноги» «друзья», которые по какому-то странному закону появляются, если в загуле человек при деньгах. Он, впрочем, не жалел – все потеряло смысл перед грядущим погружением во тьму. Соседи настрочили тогда целую подшивку «сигналов», не раз была милиция, но всегда робевший перед властями художник испытывал лишь скуку, когда люди в фуражках составляли протоколы и забирали в вытрезвитель.

Когда был продан последний этюд, «друзья» куда-то исчезли, а осталась гудящая с похмелья голова и вопрос: как жить? Но оказалось, живут и в темноте, причем неподалеку, где через дорогу от щеточной фабрики находился дом слепых. Теперь художник нередко заворачивал туда, подстегивая себя кнутом здравого смысла: надо же думать о будущем! И в то же время вопреки здравому смыслу писал эту лебединую песню, свою последнюю картину.

Он закончил работать, когда стало темно. Осенние сумерки вползли в комнату, в углах густела темнота, только яркие, бьющие в глаза краски не меркли, словно картина в полумраке фосфоресцировала. Или ему мерещилось? Когда-то он читал письма Ван Гога и знал, что в кризисе бывает гипертрофированное видение цвета – до болезненности, до глюков. С ним, наверное, было что-то подобное, иначе как объяснить необычную яркость того мира, что оживал на холсте? Наконец фосфоресцирование угасло, художник встал и пошел согреть чаю.

Составленные у двери банки гулко покатались по коридору, и тут же распахнулась кашинская комната:

– Убирайте ваши посудины из мест общего пользования! Развели тут свинство!

– Да, да, конечно... Извините.

Он ползал на коленях, собирал в темноте банки, а внутри билось и согревало трусливое: мол, нет худа без добра, зато слепого выселить не посмеют!

По утрам к фабрике неспешной вереницей тянулись люди с тросточками. В утренней тишине дробно цокали палки по асфальту, темнели очки на бесстрастных лицах, и только у перехода слепцы теряли отрешенность и начинали беспокойно суетиться. Водители иногда притормаживали, иногда нет, и слепцы переходили с опаской, а самые боязливые просили помочь прохожих. Там художник и познакомился со Свинтицким, когда помог тому перейти, и они разговорились.

Свинтицкий был сухонький и бледный, но с неожиданно цепкой ладонью. Вцепившись, как клешней, в локоть, он сетовал, что совсем нет уважения, – а почему?! Они же полноценные члены общества! И пе-

речислял, какие на фабрике выпускают щетки (сам он был учетчиком готовой продукции). Когда дошли до проходной, художник рассказал о себе, и Свинтицкий почему-то обрадовался:

– И вы пугаетесь? Уверяю вас: ничего страшного! Приходите-ка сюда почаще, я вас, так сказать, введу в курс.

Теперь после работы у ворот фабрики маячила сухонькая фигура, и, когда появлялся художник, Свинтицкий издали бодро кричал:

– А я вас по шагам узнал! Удивляетесь? Ну, это еще что!

Когда шли к дому, он то и дело вставал, прислушивался, после чего вопрошал:

– А ну-ка, кто там свистит? Что за птичка? Не знаете? А, вы даже не слышите – вот то-то!

И он самодовольно хихикал, мол, кой в чем я вам сто очков вперед дам! Слух у него был отменный, а нюх еще лучше: иногда он задирал остренький носик, втягивал воздух, а затем безошибочно тыкал палкой туда, где валялась дохлая кошка в кустах или чернела пролитая грузовиком солярка. Станный мир, без красок и света, открывался художнику через восприятие этого человека. Потом подходили к лавочкам, где на солнце грелись слепые, и Свинтицкий представлял художника: наш будущий работник. И было тоже странно, когда слепцы понимающе похлопывали по плечу, интересуясь: скоро к нам? Ага, еще несколько месяцев... Ничего, время быстро летит! Он был как Одиссей среди теней, с той лишь разницей, что античный герой мог вернуться к свету, ему же путь предстоял один – в царство вечного мрака.

В сущности, его ожидал покой. Кончится вечный надрыв, попытки превозмочь себя, суета с пробиванием выставок, – а будет обеспеченный кусок и спокойное прозябание в компании подобных. Он теперь часто вспоминал Ярошенко, его известную вещь «Всюду жизнь». Да, всюду жизнь: и за тюремной решеткой, и на щеточной фабрике. Смущало лишь то, что Свинтицкий чуть ли не торопил его и откровенно радовался, что в их полку скоро прибудет.

Картина между тем простаивала под ситцевой накидкой. Иногда художник откидывал ее, смотрел на холст, но тогдашнее свечение куда-то ушло, да и было ли оно? Скорее всего, это была последняя вспышка, агония зрительных рецепторов. Художник задвинул картину в угол, чтобы незавершенка не смущала, и все свободное время проводил у будущих коллег. Однажды он побывал в квартире Свинтицкого, где поразили пустые патроны на месте люстр. В остальном жилье было хоть куда, и Свинтицкий, вцепившись в лацкан, учил:

– Если ушами не хлопать, вы тоже получите! Оформитесь на работу, и сразу – заявление в местком! Скоро у вас, кстати?

От таких вопросов художник вздрагивал и что-то мямлил в ответ, будто был виноват в том, что еще не ослеп.

Потом зарядили осенние дожди, художник как-то вымок до нитки и слег с простудой. Ветер трепал старый клен за окном, так что ветви хлестали в стекло и скрежетали по карнизу. А метавшемуся в жару художнику казалось: пришли из исполкома и стучат в дверь, чтобы выгнать его на дождь. Шатаясь, он добрал до двери, запер ее, после чего свалился на два дня.

В одну из ночей стены комнаты странным образом изогнулись и сузились. И художник со страхом обнаружил, что под ним уже не проваленный диван, а челн, который несется в потоке воды по длинной темной трубе. Труба изгибалась, журчала вода на поворотах, и челн

было о стенки с гулким металлическим звоном. Художник молил: хоть каплю света! Впереди зареяло серое, как промозглое ноябрьское утро, пятно, но в нем вдруг возник Свинтицкий, который хихикал и махал рукой: мол, добро пожаловать! «Нет, нет, не хочу!» – художник раскидывал руки, чтобы затормозить, однако с отчаянием нашаривал пустоту...

За время болезни клен обсыпало красным, и в парке, куда художник выбрался после заточения, буйствовала охра берез и карминно пламенели осины, особенно яркие на фоне темно-зеленого спокойствия хвойных. Он любил это время года, когда небесный живописец баловал природу, чтобы потом раскрасить ее в скупую зимнюю гамму. Дойдя до любимой скамейки, художник присел. Вокруг звенели голоса детей, которые смеялись, бегали и швырялись друг в дружку листьями. Дети были одеты в разноцветные, под стать осеннему парку, комбинезончики, и вдруг сжалось сердце: неужели он никогда этого не увидит?! Тоска по этому прекрасному зримому миру выдавила слезы, они обильно текли по щекам, и старушка со скамейки напротив приковыляла узнать: не случилось ли чего?

– Нет, нет, все в порядке... Все хорошо.

Он медленно уходил, не видя из-за слез дороги, а старушка с недоумением глядела в спину: и чего молодые плачут?

Еще слабый, он сам не знал, зачем пригласил в баре угловатую молчунью, которая без уговоров согласилась к нему пойти. Боялся одиночества? Но там было сколько угодно веселых и говорливых, с кем разгонишь любую тоску. Когда она разделась в темноте, художник включил бра, чем привел женщину в замешательство:

– Зачем? Выключи.

– Постой там. Я тебе объясню потом.

Когда-то он немало отработал с натурщицами и хорошо знал женское тело, его потаенные изгибы, ложбинки и выпуклости. Но тут впивал глазами нескладную фигурку, будто впервые видел, в то время как женщина переступала ногами, прикрывая грудь. «Боже, как глупо!» – внезапно очнулся он. Предательские слезы были рядом, фигурка расплылась, и он отвернулся к стене.

– Мне холодно, – сказала женщина. – Я оденусь, ладно?

Каким-то чутьем она угадала несчастного и, когда натянула старенькое джинсовое платье, устало проговорила:

– У тебя умер кто? А? Ну, не хочешь говорить, как хочешь. А это твое?

Накидку сдуло сквозняком, и женщина приблизилась к холсту.

– Странно... Откуда этот свет?

– Что?!

Он тоже подошел и – о, радость! – увидел всё как прежде.

Никогда цвет и композиция не ловились так сразу, без мучений, заставив забыть и Свинтицкого, и грядущее кротиное существование. Кого он хотел обмануть? Неумолимую жизнь, что обесценивает любое вдохновение? Наверное, хотя думать не было времени: убегающее к горизонту пространство оживало, наполнялось деталями, словно художник хотел заново воссоздать мир, но не в обыденной тусклости, а просветленный, пронизанный горним светом. Скажи ему год назад, что будет писать при искусственном освещении, он бы рассмеялся; но теперь работал ночами, не фальшивя при этом в цвете! Итогом ночных походов за чайником стала очередная эпистола: «За общее пользование платите вдвойне!» Платить было нечем, и вскоре грянул обещанный гром.

Кашины вьюнами вились вокруг плотной солидной дамы, по очереди докладывая, указывая, а та кивала и поджимала губы, дескать, безобразие. Художник с тоской ожидал, когда оставят в покое. Такой наплевизм почему-то обидел даму, она потребовала квитанции за три года, когда же их не нашли, лицо служительницы выразило понимание всего и вся:

– Что ж, будем ставить вопрос. Мы не позволим превращать коммунальный фонд в черт знает что! И у нас есть, есть на это основания!

Последнюю фразу она чуть ли не прокричала, потрясая объемистой рукописью.

Визит исполкомовской дамы забылся, как и все остальное. Художник перестал бриться, щеки у него ввалились, словно жизненные силы перетекали в картину, и, когда он с видом сомнамбулы появлялся в кухне, за спиной презрительно шептали: «Морфинист!» Но он не обращал внимания, как не замечал и того, что склад мебели уже подступил к его двери, и та открывалась лишь наполовину. Когда на пороге однажды появился Свинтицкий, художник сидел, вперясь в картину. Чего-то там не хватало, это мучило третий день, и он вполуха воспринимал укоризны: мол, куда же вы пропали?! Я анкеты взял, жду, а вы не идете! Чем это у вас пахнет? И гость шмыгал носом, нащупывая спинку стула. Он принес бумаги, их требовалось заполнить, а затем отнести фабричному начальству.

– Обычно заполняют со слов, но вы пока сами можете... Или уже нет?

Художник приблизился к окну, за ним полыхали оранжево-багровые тона заката. Вытягивались тени, гасли медные отблески в стеклах, и внутри радостно трепыхнулось: нашел! Да, именно этого прощального вечернего света не хватало! Чтобы выпроводить гостя, художник обещал в ближайшее время оформить бумаги. Повеселев, Свинтицкий перед уходом опять принялся и покачал головой:

– Запашок тут у вас... Как в красильной. На воздухе надо бывать! Будем вместе совершать прогулки, не отвертитесь!

Спустя неделю в коммуналке опять возник человек в темных очках, долго стучал к художнику, после чего вызвал в коридор соседей. Те всю неделю художника не видели. В конце концов обратились в милицию, но за взломанной дверью обнаружили лишь старый диван и стоящую посреди комнаты картину.

Старшина нашел какие-то бумаги на подоконнике, и слепец на шест повернул голову:

– Наверное, мои анкеты. Посмотрите, они заполнены?

– Чистые.

– Как же это? Обманул, выходит? Бумаги не заполнил, сам, понимаете ли, исчез...

– Я всегда говорила, что он симулянт! – вставила Кашина, переглядываясь с мужем. Когда возмущенный слепец удалился, она увела старшину на свою территорию – у художника не нашлось даже стола, где можно было бы составить акт. А Кашин задержался. По-хозяйски обошел комнату, прикидывая, войдет ли мебель, затем приблизился к картине. Это был вид из окна, за которым открывался осененный закатным светом мир. Внезапно то ли в комнате потемнело, то ли краски на холсте стали ярче, заиграли, как при удачной подсветке. Кашин протер глаза: что за чушь?! – и свечение тут же исчезло. «Ерунда, так не бывает! – подумал он, уходя. – А комната хорошая, светлая, только проветрить нужно».